

Отмечали резиденс биолога Лашкова или отсрочку депортации, не все гости знали повод. Поздравляли с тем и этим, дважды спели happy birthday, хозяин не возражал. Муниципальная квартирка потеряла размеры, дверь – остатки смысла, холодильник наполнился подарками. Юрий Лашков, исследователь москитов, прибыл в Веллингтон из Новосибирска для соединения с женой. Но пока оформлял бумаги, ждал визу, то-сё, жена соединилась с местным лоером. Статус Юры временно завис. И вот с помощью мужа бывшей наконец-то прояснился. К пятому часу утра из напитков остался разливной джин без тоника. Из закусок – вчерашнее горячее.

– Я ее понимаю, – рассуждал биолог, сервируя жареный картофель, – Винсент – нормальный мужик. Ей с ним ловчей и детям тоже. Спросят, допустим, в школе: кто ваш папа, и что им говорить? Хрен в пальто? Там я был завлаб, а здесь...

– Юр, хватит уже, целый вечер слушаем про твою шалаву, – заметила Татьяна, грубая, прямая женщина, бывший начальник общепита. – Был всем, стал никем... Сенсация, блин. Я пол-Владика имела вот так. – Она громко щелкнула пальцами. – У меня квартира была... пятикомнатная, и везде – люстры.

– Ну и зачем уехала? – спросил Артем Самарский, поэт, музыкант, невзошедшая звезда российско-

го шансона. Человек в компании новый, иначе не спрашивал бы.

– Подставили меня, Артемий. – Татьяна помрачнела. – Развели как малолетку, до сих пор трясет. Валить надо было срочно и куда подальше. И чтоб меня забыли. А забывчивость больших людей стоит очень дорого.

– Забыли?

– Надеюсь. Ты-то сам чего забыл в этой дыре?

– Я-то? – Артем довольно усмехнулся, он ждал вопроса. – Я эмигрант стихийный, климатический. Мне нужен ветер, океан, циклон. А российская погода для меня как несвобода. О, в рифму заговорил.

Он подтянул к себе гитару. Приобнял, взял аккорд, другой. И вывел хорошо поставленным кабацким баритоном:

*Спой нам, ветер, про синие горы,
Про глубокие тайны морей,
Про птичьи разговоры, про... мм...*

– Дикие просторы, – подсказал кто-то. Артем кивнул.

*Про дикие просторы,
Про смелых и больших людей!*

На слове «больших» он подмигнул Татьяне.

– Не-а, – сказала Татьяна, – климат здесь – тоже говно.

А мне ответ барда понравился. Отъезд как жест. Как поиск родственной стихии. Поэтично, двусмысленно – берем. Раньше мы с женой были эмигранты просто так, отчего испытывали легкий дискомфорт. Для политических – излишне мягкотелы. Для колбасных – чересчур погружены в себя. Да и кормили нас в отечестве терпимо. Холодильники существовали помимо магазинов, люди – в стороне от государства. Шили самопал, читали самиздат, гнали самогон. Фарцовка увлекала, как искусство или спорт. Правильные джинсы лидировали в топе ценностей, обгоняя дружбу, любовь и не получить на танцах в морду. По воскресеньям улыбчивый мерзавец в телике рассказывал о дальних странах, где нам не светило побывать. Претензии к властям носили больше эстетический характер. «В связи с чем выезжаете на ПМЖ?» – спросили моего знакомого в ОВИРе. «Чтобы не слышать, как поет Кобзон! – ответил тот. – Не могу жить в одной стране с Пугачевой, Кобзоном и Асадовым». Претензии верхов к низам были до зевоты симметричны. Сегодня ты закуришь «Кент», а завтра – вражеский агент. Помните? Сегодня наливаешь виски, а завтра ты – шпион английский. Тех, кто слушает «Пинк Флойд»... ну и так далее. Ощущение, что ты – внутри анекдота, который давно перестал быть смешным.

И это все? Не все. Я задаю себе вопрос: допустим, разрешили бы тогда любую музыку, фильмы, книги. Никакой идеологии. Никакого дефицита. Кожаный верх, замшевый низ, деним за полцены, сервелат в нагрузку. Туалетная бумага с фейсами вождей. Битлы на Красной площади с оркестром. Папа-генерал, МГИМО, квартира в центре, дом за городом... Уехал бы я все равно? Уехал бы. И жена бы уехала. Значит, дело в климате.

К отечеству я в целом равнодушен. Любить и обижаться – не за что. Гордиться мне привычнее своими косяками. В ностальгии ощущаю фальшь. Хоть та земля теплей, а родина милей. Помню, репетировали в садике. Я думал: теплей – понятно, измеряется в градусах, а милей – это как? И почему? И сравнить не помешает. Или вот: хоть похоже на Россию, только все же не Россия. В чем разница-то? С чего тоска? Не опохмелился вовремя? Люди меняют нечто более интимное, чем страны. Например, супругов, внешность, пол, мировоззрение. Нелепо заморачиваться из-за территорий, где нас без спросу извлекли на свет.

Итог самоанализа – коктейль «Родина»: 30 мл печали, 40 мл досады и 60 мл удивления. Потряс-

ти в шейкере, добавить три-четыре кубика страха. Но о страхе потом. Удивление интереснее. Только по нему я узнаю себя в нуаре детских фото. Вот – коллективное сидение на горшках. Кто это снимал и зачем? Общий энтузиазм, лишь на одной физиономии скепсис. Первое сентября, костюмчики, цветы. Какой-то пионерский балаган. Здесь лица уже разные: скука, мука, пустота... недоумение. Стоп, это я.

Смутная идея ошибки – ровесница моей памяти. Чувство, будто меня с кем-то перепутали. Сомнения колобка, попавшего в набор гостинцев для бабушки. Полумрак, и тебя куда-то несут. Рядом пироги, масло – вроде свои, а контекст не тот. Какого хрена я здесь делаю? Кто меня сюда заслал? Все не так, ребята.

Оказаться сразу в подходящем месте – редкая удача. Такая же, как найти работу, где зарплата кажется бонусом. Или человека, с которым нестрашно стареть. Нет, я понимаю, родиться можно в Кении или Сомали. Однако там есть преимущество незнания. Сообразить, в какой ты зопе, просто некогда. Чуть задумался – тебя уже едят.

СССР давал возможность размышлений. Углубился – и хоть не выходи. В очередях, например, славно размышлялось. На автобусных остановках. Я думал: неужели это все мое? Эти косматые бараки, сталинки, хрущевки, черные дыры подъездов. Сквозняки присутственных мест, решетки на окнах, кирпичная тяжесть школ... Мое, да? Или все-таки чужое? Необходимость мимикрии. Ежедневное исчезновение какой-то малости себя, фрагмента, пикселя. Черно-белый фон девять месяцев в году. А главное – холод внутри и снаружи, холод на букву «ша». Шарфы, шубы, шапки, подштанники с начесом. О, мерзкая ноша! О, вечное, изматывающее, горькое ожидание тепла!

Неплохая, кстати, фраза: страна ожидания тепла.

Но если здесь я лишний, то где – свой? Ответ родился на премьере «Фантомаса». В нашем городке это событие вспоминают до сих пор. Кинотеатр давила очередь, народное цунами сметало билетеров. Милицию колбасило. Хулиганье с колготками на лицах терроризировало винный магазин. Я видел фильм четырежды, два раза «на протырку». Единодушно с залом цепенел от страха, восхищался, ржал, как типичный подросток-дебил. Пока экран не заполняло ослепительное море. Левитация утесов, одинокий пляж. Цвета воды, песка и гор могли составить флаг. Шоссе напоминало почерк гения. «Остановитесь! Мне сюда!» – кричал далекий голос. Но фильм, исполнив миссию, катился прочь.

Маленькая пустота
в груди увеличивалась
вместе с телом.
Тоска по равновесию
и цельности, ностальгия
наоборот. Отчасти
ее заполняли книги.
Читал я бессмысленно
и беспощадно, почти
не отвлекаясь на еду,
школу, сон и романтичес-
кие терзания.

Словосочетание «Лазурный берег» я узнал лет через восемь. Образ долго был свободен от захватанного, глянцевого имени. Он созрел до идеи пространства, куда меня надо вернуть. Стал более предметен, чем реальность. Запустил программу в голове. Превратился в цель и смысл. Дневник украсили пятерки по английскому. Рисунки в тетрадах достигли высот мастерства. К морю, пальмам и чайкам добавились яхты. Следом – человек в шезлонге с книгой, закатная дорожка на воде. В девятом классе у героя появилась сигарета. В десятом – стильная бутылка и фужер. Теперь на вопрос «Кем ты хочешь стать?» – я честно отвечал: «Колобком. Чтобы свалить от вас к едрене фене». Шутка. На самом деле я говорил: «Оператором машинного доения». Еще я понял, что такое одиночество. Это не отсутствие друзей. Это когда не с кем поделиться главным. Когда друзья устроены иначе, а родители еще не доросли.

Маленькая пустота в груди увеличивалась вместе с телом. Тоска по равновесию и цельности, ностальгия наоборот. Отчасти ее заполняли книги. Читал я бессмысленно и беспощадно, почти не отвлекаясь на еду, школу, сон и романтические терзания. В юности книги слегка потеснил алкоголь. Я выучился читать нетрезвым, замутив один глаз, иначе буквы расплзались, как насекомые. Алкоголь и книги объединились в борьбе с действитель-

ностью. Дружно отодвигали ее, как рабочие сцены – использованную декорацию.

И открывалось море. Теплый ветер с берега, запах нездешних растений. Холмы из зеленого фетра, и среди них, подобный бабочке, веселый, разноцветный город. Там небо другое, люди другие – открытые, улыбочивые, светлые. А как иначе, если носишь шорты и сандалии круглый год? Там нет понятий «ждать» и «спешка». Сандалии – обувь медленная. Время – не мера, его нельзя потерять. Оно невесомо, бесплатно, как воздух. Цикличность бытия разомкнута, в сутках часов тридцать или пятьдесят. Или сколько надо. Там низкие кусты вместо оград, атласные закаты и неуверенность: какой теперь сезон. Новый год определяют по елкам в супермаркетах. И наконец – все это далеко.

Короче, город Веллингтон я себе придумал. Ошибки исключались: я знал, что реальность – плагиат вымысла. Энциклопедии могут соврать, фантазия – никогда. Оставалось лишь уехать в сочиненный мною город. Что может быть разумней и естественней? Только свалить туда вместе с женой.

- От проблем не убежишь, – сообщил один друг, – их надо решать.
- От себя не убежишь, – интимно поведал другой.
- Ты и есть проблема, – догадался третий, наиболее успешный и богатый. – Захандришь – возвращайся. Возьму на работу.
- А хрен вам, – сказали мы с женой.

Нам было чуть за тридцать. Пара кандидатских, четырнадцать рабочих мест, восемь арендованных квартир. Плюс движимое имущество – одна сумка. Минус родственники там, перспективы – здесь, деньги – везде, то есть нигде. Между тем утихала гульба и пальба девяностых. Заграница нас любила, но уже без огонька. Просвет легальной эмиграции сузился до размеров небольшого ангела. Выпускали хмуро, брали привередливо, едва ли не обнюхивали, морщась. Бумажных дел мастера изгалялись с обеих сторон. Типичная история, увлекательность которой обратно пропорциональна ее длине. Даже в романах-бестселлерах она заменяется фразой «незаметно прошло два года».

Улетали мы как-то буднично, аж досада взяла. У людей отъезд на дачу выглядит значительней. В последний момент не раздался звонок. Проникновенный голос в трубке не сказал: «Останьтесь. Все забудем и дадим». На Ленинградке и съезде к терминалу чудесным образом исчезли пробки. Толпа пьяных друзей с гармонью не явилась в аэропорт. Мы избежали прощальных объятий, напутственных слов и размытой косметики. Двое встречных ментов

и овчарка были задумчивы, как аспиранты филфака. А ведь я готовился, почти хотел услышать: «Эй, стойте! Документы предъявляем. Ишь, собрались, умники. Мы, понимаешь, здесь, а эти гады – в Новую Зеландию. Пройдемте-ка...» Нет, тишина.

Даже стук пограничного штампа не вызвал эффектных ассоциаций. Например, с аукционом или залом суда. Или со звуком гильотины. Какие сравнения пропали! Просто «тук» и «тук». Второй «тук» слегка запаздывал. Я оглянулся. Пограничница беседовала с моей женой. Напрягся, слышу:

– В Новую Зеландию?

– Да.

– На ПМЖ?

– Ну да.

Тетка в униформе с прищуром взглянула на жену. Увидела длинный лайковый плащ, нефритовые глаза. Ангельское лицо кинозвезды семидесятых. И произнесла сочувственно:

– Говорят, там все мужики – как наши колхозники.

– Я со своим лечу, – ответила жена.

И обе с интересом посмотрели в мою сторону.

Очарование моей лучшей половины сродни инсайту или дежавю. Она приковывает и туманит взоры. В ее присутствии сбиваются кассиры, банкоматы, светофоры и часы. В любом аэропорту жена подвергается назойливому вниманию контролирующих служб. Вначале меня это беспокоило. Затем я стал их понимать. Приятно докучать красивой женщине на законных основаниях. Заглянуть в косметичку, исследовать фигуру металлоискателем, обнюхать собакой. В крайнем случае, поговорить.

Следующий диалог произошел в накопителе. Задерживалась посадка на рейс компании JAL. Пассажиры маялись в неудобных креслах. Вдруг где-то сбоку прорезалась дверь. Будто из стены шагнул японец в костюме и галстук. Огляделся и двинулся прямо к нам. Ага, вот оно, похолодел я. Но реальность оказалась круче. Японец опустил на колено перед моей женой и на внятном английском сказал:

– Простите за ожидание, мадам, небольшой форсмажор. Двое пассажиров передумали лететь. Необходимо выгрузить их багаж, что займет...

– Это не мы, – пошутил я.

Он проигнорировал меня с достоинством самурая.

– ...что займет не более пятнадцати минут. Еще раз прошу извинить.

– Спасибо, – чуть растерянно ответила жена, – но почему не объявить это для всех?

– О да, конечно. – Самурай поднялся. – Я ведь за этим и шел.

Быча мечт, особенно розовых, – хитрая штука. Спросите Мартина Идена. Даже моментом насладиться трудно. Когда оно случается, ты еще не веришь. Когда поверил, оно уже рутина. Я поверил с опозданием часов на семь. Не тогда, когда боинг, взяв октавой ниже, превозмог четыреста тонн здравого смысла и земля стала быстро превращаться в карту местности. Нет, тогда это казалось путешествием. Ощущение родов возникло после Токио Многочасовые, тяжелые роды как финал двухлетней беременности. Я был одновременно акушером, новорожденным и матерью. И адрес доставки выбрал сам. Смерть здесь тоже присутствовала каким-то боком. Ведь эмиграция – не только смена места, языка. Ты сам меняешься четверти на три. Уходит морщинистый циник с тяжелым анамнезом, появляется некто глупее, моложе, легче.

Сидней, окно между рейсами. Всюду голые ноги, открытые плечи, приветливые декольте. Джинсы выглядят извращением. У нас тоже есть шорты, но они в багаже. Вышли под убийственное солнце. Внутри зашевелилась самолетная еда.

– Знаешь, на кого мы похожи?

– Мм?

– На двух куриц гриль. Их выпотрошили, начинили чем-то посторонним и сунули в горячую духовку.

– Смешно.

Попытка автобусной экскурсии. Проснулся я только раз. За окном волновался перекресток, гневно сигналили автомобили. На меня в упор смотрел блестящий, черный памятник. Казалось, он выполнен из гудрона и стекает на постамент.

Вторично мой сон оборвали глухие удары. Мы снова летели. Самолет кидало вниз и поперек, будто лодку по волнам. Небо и море похожи в этом смысле: обе стихии легко раскрывают тему как маленького, так и лишнего человека. Я вспомнил, что в Сиднее на веллингтонский рейс загрузилась команда баскетболистов. Теснота в салоне резко увеличилась. Запахло недавней победой и вискарем. Зазвучал неряшливый английский, в котором перепутаны все гласные. Видимо, ребята забыли пристегнуться и теперь стучались головами в потолок.

«Привет, девочки и мальчики, – раздался уверенный голос в динамиках, – это капитан Глен Вильямс. Мы подлетаем к Веллингтону, если кто забыл...» Говорил капитан чуть понятней спортсменов. Я успевал расставлять по местам его гласные. Уловил «столица ветров», «над проливом Кука штормит» и «сядем вовремя, но жестко». Глен Вильямс недооценил свой профессионализм. В 23:45 мы нежно коснулись поверхности Новой Зеландии.

В столице Зеландии климата нет. Точнее, он – вроде абстрактной картины. Понять можно так и эдак, и вверх ногами сойдет. Можно и так понять, что это не живопись вовсе, а блажь и сумбур. Сезон здесь один: дождик, разбавленный солнцем, туманом и ветром. Коллизия быстро меняется в разные стороны, по очереди, вместе или как попало.

Аэропорт был какой-то ненастоящий. Напоминал замаскированный плакатами сарай. Тусклая реклама, болезненный свет, мягкая от пыли ковровая дорожка. Я долго искал подходящее слово. Заброшенность? Киношность? Имитация? Портал? Фокус в том, что слово это – не только про аэропорт. Оно из синонимов города. Нетронутость? Дизайн провинциального музея? Повсюду артефакты, экспонаты, а дотронешься – рука видна насквозь. Реальные здесь только океан и ветер. Слова, оценки приблизительны, ибо Веллингтон неопределим. Эскиз, туманный силуэт, ускользающая мысль. Покинув его, моментально теряешь уверенность в том, что он существует.

Но это после, а тогда я в оторопи думал: спокойно. Сейчас этот предбанник кончится и начнется человеческий аэропорт: дьюти-фри, кафе, вино и музыка, люди и прокат автомобилей. Началась, однако, улица. Сильный ветер дергал темноту. Транспорт подозрительно отсутствовал. Пассажиры нашего рейса быстро и загадочно исчезли. Далеко, где ночь встречалась с океаном, мигали редкие огни.

- Ты понимаешь что-нибудь? – спросила жена. – Где мы?
- Для начала понять бы, кто мы.

* * *

«И наша любимая тема: погода, – развязно сказал диктор, – в Данидине ливень, местами град, ветер до семидесяти, одиннадцать градусов как бы тепла. Кто может, сидите дома, ребята. Крайстчерч – максимум внимания за рулем, туман, небольшие дожди, пятнадцать. Веллингтон берет сегодняшний джепот. Легкая облачность, без осадков, семнадцать. В Окленде двадцать...»

Сверху рушился тотальный водопад. Авто сотрясало и плющило. Дворники не справлялись.

- Что за бред? – спросил я у коллеги, подвозившего меня. Тогда я часто задавал нелепые вопросы.
- Легкая облачность?! В окно не могут посмотреть?
- Коллега хмыкнул:
- Не исключено.
- Ну, позвонить. Узнать для интереса, какая у нас погода.
- Пока будут звонить, все изменится.

В столице Зеландии климата нет. Точнее, он – вроде абстрактной картины. Понять можно так и эдак, и вверх ногами сойдет. Можно и так понять, что это не живопись вовсе, а блажь и сумбур. Сезон здесь один: дождик, разбавленный солнцем, туманом и ветром. Коллизия быстро меняется в разные стороны, по очереди, вместе или как попало. Ветер целеустремленно хлещет по физиономии, над городом летают мокрые зонты. Одежда и погода связаны только в головах недавних эмигрантов. Местным пофиг – все равно ошибешься. Одеваются по вдохновению, живут не суетясь.

Сначала в них трудно увидеть людей. Они кажутся выдумкой, созданиями Толкина, Диккенса, Брейгеля. Их гардероб и даже лица напоминают реквизит. Откуда, из каких запасников и недр извлечены их старомодные, тяжелые пальто? Накидки, макинтоши эпохи креативной географии? Ботфорты на платформе, кружева, боа из меха сказочных зверей? Из каких временных дыр явились эти башмаки, снятые аборигенами с первопоселенцев, эти древние морщины и глаза?

Здесь вещи не дряхлеют, а накапливают смысл. Любой предмет, от мотоцикла до игрушки, чинится, штопается, десятилетиями меняет секунд-хенды и владельцев. И когда его цена уходит в область междометий, триумфально поселяется в антиквар-

ной лавке. Это не от бедности или скупости. Это – чудом уцелевшая, иррациональная связь между вещами и людьми. Одно – продолжение другого в любом порядке. Ты не можешь выбросить свой характер, присвоить чужой или купить новый. То есть внешний облик человека не зависит от его статуса, доходов, интеллекта и прочей ерунды.

Когда профессор Хелен Мэй явилась на лекцию в розовом топе и алых бермудах, я испытал эстетический шок. Известный ученый, шестьдесят плюс, высокая, седая леди в наряде тинейджерки. Студенты остались невозмутимы. Только из партера доносилось:

– Классный прикид, Хелен.

– Спасибо, – ответила профессор, – день такой.

Она была моим вторым работодателем в Зеландии. Устроиться на кафедру мне помог волжский автозавод. Шло собеседование. Вдруг Хелен говорит:

– Я долго на русской машине ездила. «Лада», знаете? Называла ее «моя бабушка». Славная машина.

Слово «бабушка» Хелен произнесла по-русски, но с ударением на «у».

– Да ну? – удивился я.

– Дешевая, простая, экономичная, надежная.

Я совсем растерялся.

– Надежная?

– Именно! Двенадцать лет, в любую погоду – как часы. По любой дороге бегала с прицепом. Заглохнет – рукояткой движок крутанешь, и вперед. У родителей ферма была в Вайканане, там народ сервисом не избалован... Ну ладно, к делу. Треть ставки для начала подойдет?

Параллельно я трудился в частной школе. На благотворительной тусовке познакомился с Крисом, отцом моего ученика. Мне сказали, что родитель этот – важная персона, топ-менеджер в новозеландском отделении Exxon Mobil. Крис мне понравился: шкафообразный, двухметровый, он вел себя естественно, как Гекльберри Финн. Занятно говорил и много ел, интересовался окружающими больше, чем собой. Не боялся выглядеть смешным. Недели через две встречаю Криса на парковке супермаркета. Он выбирается из лексуса-LX – в застиранной футболке, кроссовках без носков и мятых шелковых трусах. Цвет королевский голубой с орнаментом из желтых ананасов. На мне аналогичные, однако в роли нижнего белья. А у него без этих тонкостей. «Привет, – говорит, – Макс. Что, нравятся мои шорты? Купил по скидке в “Фармерсе”, десятка баксов пара».

И тут мне стало разом неспокойно и легко. Такое озарение умной рыбы на крючке, догадка, что твоя

свобода кончилась. Обладателям тонкой душевной и богатого внутреннего знакомо это чувство. Оно – предвстие чего-то экзистенциального: стихосложения, запоя, любви. Я заподозрил, что способен полюбить этих людей – младших, беспонтовых детей цивилизации. Кому-то достались осел и мельница. Они получили kota. Но кот всегда больше, чем кот.

Их не взяли на разборки старших братьев. Не увидели за бортиком песочницы. Они были никто и звать никак: палец в носу, штаны на лямках. Их не знали до семнадцатого века и поныне различают не всегда. Тысячи лет где-то что-то отнимали и делили, боролись за, наоборот и вопреки; меняли историю, географию, естественные, точные и мнимые науки, а также закон Божий, не говоря о человеческом; долбали чужих и своих, и неясно каких (много вас тут шляется), используя все более продвинутый ресурс.

Мелкие за этим наблюдали, как в подзорную трубу, с обратного конца. Или в детский kaleidoscope. Они жили в раю – без ядовитых гадюк, засух, наводнений, полезных ископаемых, китайского туризма. Вырастили сорок миллионов овец и баранов, по десять на физицо. Вырастили собственную гордость. Мир издалека выглядит почти как свысока: ощущения те же, но упасть нельзя. Регби заменяет веру, политику и самоидентичность. Индекс счастья выше неба, где-то рядом с экономикой. Что такое взятка, надо объяснять.

У каждого их города есть метафизический подтекст, второе дно, другое имя. Один – корабль, плавучий мегаполис. Грот-мачта телебашни, крики чаек, стаи яхт. Когда с ним рядом океанский лайнер, это – воссоединение семьи. Другой – галерея парков, бархатных лужаек, завешенных плющом кирпичных стен. Инсталляция классической Европы. Макет, клише, игра. Но игра актеров старой школы, которая порой точнее оригинала, лучше. А чем – понять нельзя, талантом, может быть.

Веллингтон – самый невидимый город этой едва различимой земли. Дожди и ветра превратили его в голограмму. В нем есть капкан оптической иллюзии, мистификация Гель-Гью, Зурбагана и Лисса. Чуть меняешь угол зрения, и стремительно ветшает, облетает постмодерн. Сквозь небоскребы проступают деревянные коттеджи, пакгаузы, лабазы, рейтузы на веревках. Веет рыбой, истлевшей жизнью, ароматами питейных заведений, протезом Джона Сильвера и кофром Билли Бонса. Домишки лезут на холмы, цветут эркерами и башенками, изгибаются арками, тянутся готическими шпилями. И вновь теряют контуры, сползая в оттекаемость ар-деко.

Прочь телефоны, распахнем зонты. Неспешный шаг и дождевая взвесь нам в помощь. Бесплотный город не любит резкости, его легко спугнуть, как пред-воспоминание или послесоние. Несколько лет этого транс, и Веллингтон становится подобием кино-студии, где параллельные миры – за каждой дверью. Где ты – в системе, имеешь доступ, где мало что способно удивить.

Ан нет, у города велик запас причуд. Утро, еду в школу. Полупустой автобус сонно качает ландшафт: зеленый нубук холмов, ватные комки овец. Заходит молодая пара с рюкзаками – не туристы. Лица нервные, усталые. Сбросили кладь, уселись, заругались шепотом. Светленькая девушка без видимых примет. Зато у ее спутника – примет на шестерых. Стройотрядовская куртка нараспашку – в шевронах и значках. Под ней – тельняшка ВДВ, ремень РККА. Ниже – галифе с лампасами. «Во, блин, чучело, – едва не вслух подумал я, – никак земляк».

Точно по заказу юноша воскликнул:

– Все, на хрен, на хрен, на хрен эту работу! – Он резко помотал головой. – Я лучше буду пищу развозить.

– Пф, – отозвалась блондинка.

– Что «пф»? Что значит «пф»? Да я... – Он растопырил пальцы. – Вот этими руками... Я, блин, в Гнесинку полбалла недобрал! А теперь я этими руками чищу срач! Нас за прислугу держат... мать их!

– Тём, заканчивай цирк. Люди кругом.

– Какие, на хрен, люди?! Кто нас здесь понимает?

Тёма оцарапал меня взглядом. В его лице мелькнула что-то неотвязчиво знакомое. Я помаялся день и вспомнил. Восьмидесятые, группа «Земляне». Спецэффекты, два грифа, туман, все понты. Красавец модельного типа открывает рот под чужую фанеру:

*Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна...*

Парень в автобусе был его клоном, хотя моя память – суфлер ненадежный. Хуже лиц я помню только имена. В комплекте с близорукостью – сплошные преимущества. Потребность в сочинительстве – раз. Мир, наполовину состоящий из твоих фантазий, – два. А далее со всеми остановками. Очки я бойкотую, косые взгляды размываю, на мелкий шрифт плюю, справочники ненавижу с детства. Непонятные слова в книгах заменяю своими, они всегда точней. Однако Тёму я запомнил и при новой встрече узнал.

В русском клубе состоялась вечеринка. Праздновали двадцать третье февраля или восьмое мар-

та, что в сущности одно и то же. Обычно мы с женой таких мероприятий избегаем. Они фальшивы и пещерны, как бумажные цветы. Чужие притворяются друзьями, лузеры – успешными, еда – вкусной, силиконовый русский язык – веселым и живым. Там бабушки пахнут, как шкатулки с лекарствами, и в целом атмосфера мотивирует выпить. Но сделать это трудно, ибо алкоголя меньше, чем лирически настроенных гостей.

На сцене рывкала гармонь, две пары танцевали нечто среднее между кадрилию и чечеткой. Следом кто-то женским басом декламировал Асадова. Опытная тетка-эмигрантка вторглась в личное пространство моей жены. «Вы на каких пособиях, Мариночка? – расслышал я. – Да ладно, не смешите. Умные люди здесь не работают. Я после ухода Васи оформила сожительство задним числом. Мы с ним давно фиктивно развелись, так пособие больше. Теперь имею в двух местах по утрате кормильца. Сделала нам с дочерью через посредников за бабки инвалидность, короче, шесть пособий на двоих. Институт соцстрахования, пенсионная касса, доплаты за жилье – везде капает. Страна чудес, они же лохи здесь, дебилы поголовно...» Тем временем чтицу сменил детский хор. Пятеро малышей с отворачиванием затянули:

*Дремлет прити-ихший северный го-ород,
Низкое не-ебо над голово-ой...*

Я налил себе водки. Урок жизни рядом не кончался: «...зелень и овощи брать только на фермерском рынке. Картоху – мешками, бананы – ящиками, скидки нереальные...» Жена рассеянно кивала. Я знал, что ее хватит еще минут на пять.

«Друзья! А сейчас... – ведущий сделал паузу, – гвоздь нашего вечера, известный автор-исполнитель... Артем Самарский! Встречаем!» Возможно, он сказал «гость», но мое слово подходило лучше. Послышались разрозненные громкие хлопки. Появился чудик из автобуса с гитарой. Темно-красный инструмент поблескивал значительно и дорого. Сам исполнитель предпочел классическую гамму. Малоношений черный костюм и такие же штиблеты оттеняли белизну рубашки и носков (я заметил эту милую деталь). Место галстука занял шнурок.

Он поправил микрофон и начал играть. Тишина возникла не сразу. Чистый, сильный рифф поймал людей врасплох. Профессионалы вообще удивительны, как единственная антитеза хаосу, но особенно там, где их не ждешь. Техника его игры была такой же неуместной в этом зале, как эротическая сцена в фильме про колхоз. Мысль об эротике внушали его

Юрий прилетел сюда
не из авантюризма или
тяги к перемене мест.
Жена и дети были только
поводом, отношения там
давно закисло. Без семьи
в Новосибирске Юрий
обходился – превосходно.
Без лаборатории – не смог.

пальцы: тонкие, летящие, небрежные. Он вел одно-
временно ритм и соло, звучали как бы несколько
гитар. Вдобавок Тёма умудрялся петь. Тексты были
средние, но музыки не портили. Пара мелодий сты-
рены, и ладно, шансон вторичен по определению. Но
игра... Я не верил, что слышу это живьем.

Пока он выступал, кто-то доел мой винегрет.
Хуже того – прикончил мою водку. Неужели я сам?
Трюк бессознательного странным образом вернул
меня в юность. Реальность сдвинулась, мир был за-
гадочен и нов. Душевный подъем толкал на глупо-
сти. Я вышел на крыльцо, достал сигареты.

– Брат, огоньку не найдется?

Это, разумеется, был он. Ощущение гостя в чужом
сценарии не покидало меня. Я чиркнул зажигалкой.

– Классно играешь, давно такого не слышал. Фин-
герстайл?

– Ого! – удивился он. – Спасибо. Ты сделал мой ве-
чер. Артем.

Он протянул руку.

– Макс. А Самарский – это псевдоним?

– Почти.

– Земляки, что ли? Я на Химзаводе жил.

– Сто шестнадцатый. То же отверстие, но вид сбо-
ку.

– Во, блин...

Он на секунду задумался.

– Слушай, я диски продал, восемь штук, есть идея.

– Я участвую. С женой.

– Не вопрос. Будут два парня со студии, впятером
уместимся. Предупреждаю: у меня сроч, везде ко-
робки...

– Переезд?

– Ага. Развод. Его и отмечаем.

Разводился Артем трижды, женат был четырежды.
Первые три раза на Саше, блондинке из автобуса.
Второй развод окончился третьим браком, после
чего мы задружились семьями. Сейчас приятель-
ствуем с экс-супругами отдельно. В эмиграции
непросто развестись по-человечески. Невозможно
хлопнуть дверью и уехать к маме или на время за-
виснуть у друга. Друзья такого качества остались
в прошлом. Мамы нет, и средств на две квартиры
тоже – приходится мириться.

Саша долго мирилась с увлечениями Артема. Кро-
ме поэзии и музыки, он увлекался историей, алко-
голем, коллекционированием и ношением военной
формы разных стран. Работал клинером, маляром,
стекольщиком, электриком. Отношения с коллегами
везде не задавались. Английский он знал худо, но-
возеландский сленг – тем более, за что был унижаем
в трудовых коллективах, особенно представителя-
ми народа маори. К несчастью, в этих коллективах
преобладали именно они. Артем зверел, спасался
музыкой. По выходным в гараже у приятеля записы-
вал третий альбом. Возвращался ночью, ошибаясь то
подъездом, то квартирой.

Вдобавок Артем не хотел зарабатывать тем, что
реально умел. Что не требовало беглого английского,
собеседований, дипломов. Только гитары и рук. Так
нет же. «Я по кабакам набалбался досыта, – сказал,
как рояль захлопнул, – чужого больше не исполняю».

К тридцати годам Сашу накрыл материнский ин-
стинкт. Лет через семь он превратился в манию. Это
муж ей поставил диагноз. Лично его родительский
инстинкт не беспокоил. Детей он считал nonsensom,
а их отсутствие – бонусом. Сашу задолбало ждать
чудес природы. Она тихонько сделала ЭКО. Или не
ЭКО, а кто помог? Короче – чей ребенок, сука? Бо-
лезненный вопрос, ставший поводом их третьего,
финального развода. Произошло это в Австралии,
куда супруги двинулись за госпожой удачей и где
ее со временем нашли.

Саша родила здоровенькую, умненькую дочь. Вы-
скочила замуж за богатого еврея. Дом с верандой,
гости, селфи, барбекю. Не семья, а украшение фейс-
бука. Тёма женился на разведенке с идеальным ком-
плектом детей. Мальчик и девочка называют его па-
пой. Он бросил пить, увлекся индуизмом, работает
на фабрике дверей. У него все хорошо, только песен
не сочиняет. Да и бог с ними, при чем тут песни?
Главное – жизнь удалась.

Веллингтон не держится за людей. Он холоден,
самодостаточен, далек от желания всем нравиться.

Покинул его и Юрий Лашков, специалист по трансгенным москитам, завлаб и кандидат биологических наук. Сходство между Артемом и Юрием исчерпывалось тем, что оба оказались в этом городе случайно. Дальше начинается существенная разница. Юрий прилетел сюда не из авантюризма или тяги к перемене мест. Жена и дети были только поводом, отношения там давно закисло. Без семьи в Новосибирске Юрий обходился превосходно. Без лаборатории – не смог.

Наука и ученые внезапно обесценились. Стране понадобились новые герои. Когда тебе без малого полтинник, выбор невелик: уехать либо сдохнуть. Коллеги собирали чемоданы, выяснилось, что у многих они почти готовы. В разговорах мелькали слова «контракт», «рабочая виза», «Станфорд», «Йель», «Гонконг». Жена Юрия, сейсмолог, уловила эти катаклизмы загодя. Получила трехлетний контракт в Зеландии и отвалила с детьми. Юрий тогда ехать отказался. В Академгородке он был фигура, а там кто? Он еще подумал: вот и ладушки. И с разводом канители никакой.

Лаборатория закрылась. Юрий месяц пил. Деньги и здоровье были на пределе. «Парашюта» он не заготовил, ни в Станфорде, ни в Йеле его не ждали. Пришлось звонить жене.

Юрий был из редкой категории людей – трудоголик и алкоголик одновременно. Тип, с гениальной лаконичностью описанный Некрасовым: «он до смерти работает, до полусмерти пьет». За год знакомства я наблюдал Юру исключительно в двух состояниях. Либо трезвым и веселым на работе. Либо вне ее – меланхоличным и бухим. В обеих ипостасях он мне нравился.

Прибыв в Веллингтон и кое-как обосновавшись, Юрий направился в университет. Быстро отыскал School of Biological Sciences, побродил по коридорам, заглянул туда-сюда. Вдруг за большим стеклом ему открылась восхитительно знакомая картина. Микроскопы, пробирки, компьютеры, сосредоточенные люди в белых халатах. Будто не летел через полмира. Centre for Biodiscovery значилось на двери. Юрий надавил кнопку, дверь, щелкнув, отворилась.

– Я бы хотел поговорить с начальником.

Эту фразу и несколько других он заучил до впечатления свободного английского.

– О чем? – спросили его.

– О биологии.

Начальник, его звали Майкл – очки, интеллигентная борода, – тоже показался Юрию родным. В Академгородке такие попадались через одного.

Юрий взволновался и забыл подготовленный спич. Ерунда, он знал, что без работы отсюда не уйдет.

– Я хочу здесь у вас работать, – сказал он просто, – нет вакансий, и не надо. Я на пособии, меня все устраивает. Кроме одного: мне надо заниматься своим делом, понимаете? Я готов волонтером, прибираться, колбы мыть, что угодно, только здесь.

– Я вас понимаю, но... – сказал завлаб.

– Погодите. – Юрий дернул молнию на сумке, ее заклинило. – Сейчас. Я вам тут принес... Я в такой лаборатории студентом начинал. В такой же абсолютно! Потом аспирантура, защитился и так далее... Вся карьера, тридцать лет... У меня больше ста публикаций. Вот последние, смотрите.

Он протянул Майклу стопку ксерокопий. Две верхние статьи были на английском, в Nature Biotechnology и Trends in Cell Biology. Майкл шевельнул бровями.

– Хм. А ведь я читал эту статью. Крайне любопытное исследование. Не ожидал, что доведется вот так увидеть автора.

– Это групповой проект, – скромно ответил Юрий, – под моим руководством.

Наутро он в карьерном смысле помолодел на тридцать лет. Стал младшим научным сотрудником на добровольной основе. Через месяц неофициально консультировал два проекта и трех аспирантов. Приходил в лабораторию раньше всех, уходил затемно. Денег за работу не получал. Пять дней в неделю был счастлив. Выпивал с умом.

По выходным и праздникам наваливалась мутная шукшинская тоска. Юрий, между прочим, был слегка похож на Шукшина и одновременно на кого-то из его героев. Или на кого-то из героев Чехова – литературностью судьбы, законченностью образа. Юрий старался понять, откуда его тоска. Он запускал стиральную машину, усаживался напротив, подолгу глядел в иллюминатор. Думы медленно вращались в голове, точь-в-точь как грязное белье. Буксовали на детях. У них все хорошо, так? Так. Частная школа, успешная мама, богатый папа Винсент. Славный парень, который трахает его, Юрия, жену. Бывшую, бывшую жену. Ладно. Хуже, что сука-лоер детям нравится. Руслан и Маша стесняются отца, вот главное паскудство. Считают его лузером, избегают, особенно дочь.

Юрий подходил к окну, смотрел на мокрый город. Город безучастно смотрел на Юрия. С шестого этажа квартал муниципального жилья выглядел терпимой акварелью. Низкорослые дома, толкаясь крышами, сползали к Brooklyn Road. На парковке матово бле-

стели автомобиля. Небо цвета влажной простыни тянулось в океан. За корпусом гостиницы скрывался алкомаркет Mills, где водку и джин открывали в розлив почти даром. «Пора все менять, – думал Юрий, – и начинать с себя. Пора, мой друг, пора...» Он считал деньги, натягивал ветровку и шел в магазин.

Далее: гости, соседи, рокировки бутылок и пельмени. Ускользящий смысл разговоров о главном. Телевизор в беззвучном режиме, словно перископ. Квартиру Юрия, незапертую в эти дни, окружало силовое поле. Зайти было легко, особенно с выпивкой. Путь назад оказывался более тернист. Случалось, люди пропадали, иной раз находились, но не те. Под Новый год исчез таинственный маляр, обитавший у Юрия дня четыре. Когда Артем промаживался дверью, супруга знала, где его искать.

По законам беллетристики герои расстаются в тот момент, когда становятся нужны один другому. В самолетном чтиве кто-нибудь поспешно умирает. В бестселлерах для поезда – внезапно уезжает навсегда. С Юрием произошло и то, и это. Я – автор добродушный, персонажей не убиваю, люблю их больше, чем искусственный надрыв. И больше, чем естественный. Выходит, эту часть повествования сочинил не я.

Юрий стал мне дорог. Почему? Формулировка требует усилий. Юрий был визиткой той эпохи, когда ходили в гости без звонка и деньги занимали без отдачи. Живым свидетельством того, что память не обманывает нас. Давным-давно, студентом, я одолжил червонец у знакомого художника. Художник, разумеется, был кос, однако не до абстракционизма. Он знал, что быстро я десятку не верну. Затем мы потерялись, сменили адреса. Шли годы, черта бедности немного отодвинулась. Я отыскал художника, приехал к нему вечером с друзьями, с коньяком. Он не удивился – богемная жизнь полна сюрпризов. Подняли, содвинули, я отдал деньги. Художник сунул их в карман и говорит: «А ты у меня правда занимал? Ей-богу, не припомню». Вот это трудноуловимое качество без имени, оно в Юрии главное. Одни люди нас грузят, другие снимают груз.

Юрия пригласили в Калифорнийский университет в Риверсайд. Позвонил бывший коллега, ныне светило американской энтомологии. «Умница, интеллеktуал! – торжествовал Юрий. – Свалил в восьмидесятом. Получил недавно грант от Института здравоохранения: десять лимонов на десять лет с правом нанимать, кого он хочет. Ясное дело, он хочет меня, стопроцентно моя тема! Жилье в кампусе, страховка, весь пакет. А главное, там половина наших. По-русски на работе говорят».

Когда фортуна опрокидывает на вас мешок подарков – время унять сценариста. Время пригладиться к трещинам в асфальте и сосулькам над головой, особенно летом. В Америке Юрий женился, взял в ипотеку таунхаус, молодожена навестили дети. Дочь Юрия решила поступать в отцовский университет. Ей опять нравился папа, а также его дом и много солнца. В апреле Юрий нам звонил, шутил, смеялся: «Прилетайте в отпуск. Я с вами за компанию хоть город посмотрю...» А восьмого мая умер, остановилось сердце.

Не поверить оказалось легче, чем я ждал. Благодаря отъезду в Штаты исчезновение Юрия из мира физических тел обрело постепенность, сделалось вопросом расстояния, а не бытия. Так любимая книга, перемещаясь с тумбочки в шкаф, затем на антресоли, остается частью нас. Юрий окончательно стал персонажем, историей, рассказанной циником в пенсне или таким же мизантропом, но босым и с сигаретой. Бесспорный, как выдумка гения, мой друг переехал туда, куда не обязательно звонить для наслаждения беседой в гораздо лучшем качестве, чем предлагают телефон и скайп.

В тот период я был трезв и не под веществами. Мое лекарство называлось Веллингтон. Демисезонный город укутывает мозг, подобно валиуму или ксанаксу, но исподволь, не сразу. С годами его отстраненность, его туман и сырость приглушают чувства, амортизируют движения. Зыбкое, расплывчатое время, жизнь понарошку, не всерьез становятся наркотиком, город-невидимка – домом. Лучший способ принять это – визит на родину.

Отечество сильно встряхивает. Из тебя выпадают иллюзии, заморская плавность жестов, ослабленность лица, улыбка ценой в штуку баксов. Отечество ловко шмонает твои чемоданы, смотрит гопником с района, задает вопросы. Любые ответы равносильны признанию вины. Классический сон всех удравших готов воплотиться в действительность. Твой билет и паспорт аннулируются. Руки можешь опустить пока. Чтобы завтра явился по месту прописки и встал на учет. Какая Зеландия? Какой Веллингтон? Нет такого города и не было никогда.

Минус тридцать, Самара, январь. Мы садимся в такси. Ремней безопасности нет, шофер выжимает сто двадцать. По обледелому шоссе летим синусоидой в ночь и метель. Динамики накачивают салон попой: «Но-о-вый год к нам мчится, ско-оро все случится...» И я понимаю: вот эта езда – метафора

Отсюда третья новость: дом – место, где тебе не страшно. Протекция души, ее ракушка, тело, замок, мегаполис. Одни растят бока и покупают крепости. Другие сочиняют города и населяют их людьми. Чем креативнее задача, тем удивительней бывает результат.

родины. Тут по-прежнему нет завтра, время спрессовано до хруста, жизнь упоительно быстра. Единственное правило – отсутствие правил. В этом пространстве ты – заложник. Выбрался – счастливец и герой. Нет – вызываем клининг-сервис.

В России меня ожидали три новости. Плохая и хорошая отличались единственным словом. По сути не изменилась моя родина. По сути не изменились мои друзья. Встреча с ними беспокоила меня как человека, долго не смотревшегося в зеркало. Обрадует ли то, что я увижу? Не смутит ли разочарование? Не шокирует ли пустота? Обняв друзей, я устыдился этих мыслей. Передо мной стояли те же раздолбай, с которыми – спина к спине – мы выживали десять школьных лет. Мы не искали тем и не боялась пауз. Мы не боялись даже трезвости. Едва я покидал друзей, как возвращался страх.

Он притворялся снегом, холодом, неясными фигурами, дремучими глазами из-под шапок – всем и ничем действительно опасным. Вслед за мной, ускорив шаг, он проникал в квартиру. Задержав шторы, выпивал, потом еще. Проверял, на месте ли обратные билеты, зачитывался кодом слов и дат. Страх избегал конкретики, он был расфокусирован, невидим, точно вирус. Я пытался с ним заговорить. Разве нас обидели за эти две недели? Обокрали? Нахамили? Разве я не жил здесь тридцать лет? «Это контраст, – убеждал я себя, – эта территория как вредная привычка. Кто соскочил – боится. Кто не в теме – не поймет».

Отсюда третья новость: дом – место, где тебе не страшно. Протекция души, ее ракушка, тело, замок, мегаполис. Одни растят бока и покупают крепости. Другие сочиняют города и населяют их людьми. Чем креативнее задача, тем удивительней бывает результат. Цюрих или Вена рифмуются с уютом, как розы и морозы. Веллингтону ближе не рифма, а звукопись. Не торжественный шаг менуэта, а неуловимость джазовой импровизации. Пока она негромким фоном доносится из бара, ее не замечаешь. Но стоит ей прерваться – исчезают волшебство и атмосфера. И вспомнить эту музыку нельзя.

Тоска по Веллингтону растет синхронно его забыванию. А забывается он так же быстро, как режиссер монтажа вырезает фрагмент киноплёнки. Чик, чик, склеиваем концы – и пять лет долой. Просыпаясь в холодной тишине квартиры – будто никуда не улетал. Тот же вялый рассвет, чугунный узор на окнах, кишечное журчание батарей. Те же обои в пролетарский цветочек, болезненно скрипучий шкаф, вечный раскладной диван. Рассудок почти готов уступить, отпустить бестелесный город, висевший на грани реальности, как бабочка на скале, отвернешься, миг – и нет его. Но отчаянным усилием мысли, чудом некогда создавшего его воображения я удерживаю Веллингтон на месте.

На краю океана, у подножья морщинистых гор возникают светлые точки и линии. Им добавляют фокус и цвет, увеличивают, снова наводят резкость. Они распадаются на крошечные здания, порт, триугольники монастыря. Город поднимается из воды. Тянутся ввысь небоскребы, чуть отстают парламент и музей. Террасы, будто мелкими грибами, образуют частным сектором. За изгибами набережной светится аквариум библиотеки. Хрустальные витрины Lambton Quay перетекают в деловую Willis Street. Сити торопится в разные стороны, гоняет запахи кофе, бензина, обрывки телефонных разговоров. Верещат светофоры, газуют парадоксы автопрома. В старенькой «Ладе» проносится на желтый Хелен Мэй. Крис салютует из зеркального лексуса. По Brooklyn Road спускаются Артем и Юрий. Их шаг и лица вдохновенны, цель ясна.

– Гляди-ка, солнце! – восклицает Юрий. – И не понять, откуда моросит.

Артем кивает:

– Это знак, что мы на верном курсе.

– Тебе какое слово больше нравится: «моросит» или «накрапывает»? – не унимается Юрий.

– Мне больше нравится слово «зонт», который мы не взяли, – морщится Артем. Холодная капля угодила ему в глаз.

Я знаю, что мы непременно вернемся. Снова будем частью фантастического мира, разомкнутого времени, героями придуманной кем-то истории. Когда – зависит от рассказчика, а место, безусловно, изменить нельзя. Ветер будет встречным, и ни градусом левее, нам будет по тридцать и ни часом больше. Все будут живы и здесь, иначе текст не стоит букв, а литература – имени. И дождь замаскирует наши слезы умиления тому, что этот город – первый из немногих давших нам приют – все-таки есть на свете.

Существование вещей, от чашки кофе до вселенной, определяется направленностью мысли. Это не эмпиризм и не идеализм. Это всем знакомая досада: ищешь утерянный предмет, тогда как он стоит перед глазами. Но мы его не видим – почему? Потому что мысли заняты другим. Когнитивная оценка внешних стимулов есть то, что мы называем реальностью. Справедливо и обратное. Если нам что-то пофиг, существование его как минимум под вопросом. Наличие Веллингтона – стимул. Отсутствие его – мощнейший стимул. Я думал о нем каждый день: с утра и на ночь, трезвым, выпивши и между, в такси, автобусах, на рынке и вокзале, в печали, радости, толпе и одиночестве. Я не оставил ему шанса ускользнуть.

Тридцатиградусный мороз сменился влажным снегом. Менялись блюда, лица и подарки. Школьные друзья преобразились в институтских, самарские – в московских, различал я их уже с трудом. Веллингтон тотально овладел моим сознанием. Мысли о нем были единственным средством от паники. Углубившись в них, я едва заметил пограничный и таможенный контроль. Таможенники странно походили друг на друга и в целом – на китайцев. Я поделился наблюдением с женой. Выяснилось, что мы в Гонконге.

Гонконг – второе имя тесноты. Людей и небо-скребы там хочется расталкивать плечами. Чтобы удалиться от толпы, мы совершили вертолетную экскурсию. Вид сверху имитировал бескрайнюю массажную расческу, полную движения насекомых. «Хорошо бы опуститься где-нибудь не здесь, – туманно думал я, – сразу в нашем полушарии... Три самолета, двенадцать часов... Сидней. Окленд. Веллингтон».

Транс оборвался словно по щелчку гипнотизера. Шла посадка на финальный рейс. Оцепенение исчезло, мозг впустил подробности и звуки. «Air New Zealand» с удовольствием прочел я на жакетах стюардесс. Их сиреневые платья казались акварельными. Через салон тянуло океанским ветром. Отовсюду слышался волнующий язык, щебет ночных, мифиче-

ских птиц, терпимый к любым вольностям произношения. Все равно переспросят и поймут не так.

Настроение поднималось в темпе самолета. Мы заказали джин и тоник, соседка рядом – шардоне. Она давно приглядывалась к нам. Спортивная бабушка в модных очках, из породы любопытных туристок-путешественниц. Через минуту спросит: «Откуда вы, ребята?» Соседка глотнула из бокала, поморщилась, кивнула на мой джин.

– Правильный выбор. Австралийское шардоне – пародия на вино. Ладно, скоро выпьем настоящего. Откуда вы, ребята?

Разговоры с кем попало не моя забава, внутри хватает собеседников. Но джин был двойной.

– Это длинная история, – ответил я, – лучше спросите, куда.

Тетушка блеснула шедевром стоматолога.

– Интересно. И куда же?

Я показал, что мой дантист не хуже. И уместил в коротком слове две минувшие недели, усталость, память, одиночество, галерею рисунков в школьных тетрадах и семь абзацев будущего текста.

– Домой.

